

# Оглавление

Раньше я знала, *она* бывает..

7

Глава первая

15

Глава вторая

185

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы перед тем, как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок.

ГЮНТЕР ГРАСС. *“Жестяной барабан”*

С истиной спорить можно. С памятью — нет.

*Из фрагментов рукописи,  
не вошедших в основной текст*

# Глава первая

# I

Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград. Мне приходится делать над собой усилие, чтобы за этим названием расслышать имя Ленина, о существовании которого я узнала, когда имя города уже занимало отдельную клеточку моей памяти: сквозь ее прочную мембрану вождь мирового пролетариата так и не сумел просочиться. *Городленина* — привычное советское сочетание — осталось для меня посторонним звуком. На вопрос, где я родилась, я отвечаю: на Театральной площади. Что, строго говоря, не так.

На самом деле — на улице Маяковского в знаменитой Снегиревке. Причем незаконно. Или, скажем, противозаконно. Короче, я не имела права являться на свет. Дело в том, что мама болела туберкулезом (тогда его именовали противным мушиным словом: *тэбэце*). Но мушиным оно слышится мне. А в те годы оно звучало страшно. Как для нас, положим, онкология и другие смертельные болезни, от которых, в принципе, вылечиться можно, и все-таки каждое выздоровление — чудо.

Теперь, когда эта зараза не то чтобы побеждена, но по меньшей мере знает свое место, известно, что

ее широчайшая распространенность была связана со скудным питанием, худой одеждой и обувью, теснотой и перенаселенностью коммуналок, а также общим уровнем фармакологии, когда в отсутствие эффективных лекарств туберкулезные больные пользовались экзотическими паллиативами, самый желанный из которых — барсучий жир. Считалось, что, принимая его перорально, можно “залить каверны”. К этим экзотическим средствам маме прибегнуть не пришлось.

Спасло ее то, что первая — “открытая” — стадия заболевания совпала с появлением в советских больницах чудодейственного средства. Пенициллин. В сочетании с пневмотораксом плевральной полости, а говоря по-простому — поддуванием (эту во всех отношениях неприятную процедуру Томас Манн романтически описал в романе “Волшебная гора”), пенициллиновые инъекции давали поразительные результаты: в мамином случае каверны затянулись буквально месяца за три.

Во всем остальном эта история дает мало поводов для сравнения с “волшебной горой”. Тут у нас свои *горы и горки*. Одна из них та, что года за два до болезни и примерно за год до знакомства с моим отцом мама успела выскочить замуж за некоего “Зарубаева”. Беру его в кавычки потому, что мое отношение к этому (к счастью, третьестепенному) персонажу нашей семейной истории зиждется на одной весьма колоритной сценке: когда мама, говоря прямо, умирала, этот тип явился в больничную палату в компании неведомой шалавы, чтобы задать ей прямой вопрос: когда ты наконец сдохнешь? (Специально для любителей подобных во-

просов: Бог — хоть верь в Него, хоть нет, — внимательно отслеживает такого рода инвективы, при случае посылая их авторам *обратку*. Здесь я замолкаю, чтобы, в общих чертах зная дальнейшее течение событий, не впасть в рассуждения, не слишком благочестивые с точки зрения общепринятой морали. Тем более что тело со следами насильственной смерти, найденное в глубокой Сиверской канаве, говорит само за себя.)

В продолжение этой сценки мама лежала лицом к стене. Но вопреки пожеланию Зарубаева (тогда — официального супруга) не сдохла, а наоборот выздоровела. Точнее, ее болезнь перешла в “закрытую” фазу, безопасную для всех, кроме самого больного и, сильно забегаая вперед, будущей меня.

До болезни мама работала кассиршей в угловой булочной на Театральной площади, что, в сравнении с прежними записями в ее трудовой книжке, можно назвать карьерным достижением, поскольку начинала она продавцом. Не знаю, как обстоит с этим в наши дни, но в начале пятидесятых к “учебе на продавца” подходили серьезно. Прежде чем встать за прилавок, полагалось пройти годичное обучение на специальных курсах, носивших гордое название “Школа торгового ученичества” — на мой вкус отдающее легким безумием. Равно как и перечень предметов на ее “Молочно-мясном и колбасном факультете”: ладно бы всякие мясомолочно-колбасные премудрости, но за каким чертом мучить торговое ученичество историей КПСС и политэкономией?..

— Как за каким?! — я слышу голоса возмущенных методистов. — За тем самым. — С коим мама

познакомилась еще в седьмом классе, получив от него предложение, от которого не то что в те — даже в мои школьные годы было не принято отказываться. Но меня, знающую мамин характер, изумляет не столько сам отказ (кстати, не основанный на каких-нибудь более или менее антисоветских принципах, а так, *нипочему*, будто что-то внутри, в крови, не дает согласия), сколько формулировка, предвосхитившая все последующие бляения, к которым смельчаки моего поколения прибегали в схожих обстоятельствах: дескать, где я и — где комсомол, куда уж мне с эдаким рылом, да в ваш калашный ряд...

Впрочем, ни трудовой ее карьере, ни дальнейшему образованию этот решительный отказ не помешал. Завершив пристальное изучение советской гастрономии и устроившись работать по специальности, мама поступила в вечернюю школу (тогда это называлось “школой рабочей молодежи”), где и получила законченное среднее. 10 классов.

В нашем теперешнем понимании отличный аттестат (7 классов на круглые пятерки) не слишком вяжется с идеей вечерней школы. Не говоря уж о мясо-молочных курсах. Да, конечно, мечтала о большем: поступить в медицинский, стать врачом. Но, как нередко бывает, не срослось. Все одно к одному: отец погиб на войне, мать тянула ее одна, неудачное первое замужество, тяжелая, едва не смертельная болезнь — а еще раньше жестокий фурункулез, предвестник *тэбэце*, не распознанный вовремя... По обычаю русской жизни пришлось применяться к обстоятельствам, но сейчас не о жизни, а о школе.

Широкий доступ к среднему и высшему образованию — бесспорное “завоевание социализма”. Но как и многое в отечественных широтах, эта условная правда требует уточнений<sup>1</sup>.

В первые советские годы образование — с упором на ликвидацию безграмотности — оставалось бесплатным. Однако осенью 1940-го (ввиду активной подготовки к войне стране нужны рабочие) Совет Народных Комиссаров вводит общеобязательную плату за обучение в старших классах дневной средней школы, а также в техникумах и училищах, не говоря уже о вузах, где фигурировали весьма ощутимые для личных и семейных бюджетов суммы<sup>2</sup>. Попробуйте в течение пяти лет выкраивать по 300–400 рублей ежегодно (при том что средняя месячная зарплата — те же самые 300 до-реформенных) — если цены на товары первой необходимости, вопреки расхожим представлениям, бытующим в наши дни, очень даже кусаются.

Кстати, основным мотивом поставленного ребром вопроса, с которым “товарищ Зарубаев”, сопровождаемый вышеупомянутой шалавой, явился в мамину туберкулезную палату — кроме, конечно, чистого удовольствия от собственного хамства, — были 50 (*пятьдесят*) рублей. Именно эту сумму по тогдашнему закону вносила в государ-

<sup>1</sup> До времени закроем глаза на классовый подход, когда детей “бывших”, будь ты хоть семи пядей во лбу, в вузы не принимали — что, кстати говоря, декларировалось открыто, в отличие, скажем, от отбраковки по “пятому пункту” в семидесятых-восьмидесятых, когда государство действовало исподтишка.

<sup>2</sup> Постановление СНК № 638 от 26.10.1940 действовало вплоть до его отмены в 1956 году.

ственный бюджет сторона, виновная в разводе. Собственно, признания вины с последующей оплатой он и требовал от мамы, не слишком надеясь, что она и так со дня на день помрет.

Иными словами, получить образование можно, но для этого требуется железная мотивация — такая, как у моего отца.

Под раздачу СНК отец не попал единственно по причине возраста. Приехав в Ленинград из далекого Мозыря с одним картонным чемоданчиком, он (в 1929 году четырнадцатилетний выпускник хедера, с трудом изъяснявшийся по-русски) успел пройти все стадии бесплатного обучения: сперва “ремеслуху”, за ней — вечернее отделение Политехнического института, которое закончил с отличием и без отрыва от производства не то танков, не то тракторов — в общем, того, что накануне войны наладился выпускать знаменитый Кировский завод (до известных событий, с которых “вождь и учитель” начал разгром ненавистного ему Ленинграда, — Путиловский). С этого предприятия, имея на руках инженерскую бронь, он ушел добровольцем в ленинградское ополчение, не раздумывая ни дня. Но, в отличие от большинства ополченцев, сложивших свои образованные головы, выжил, и в 1943-м, успев повоевать под Москвой командиром этого самого “трактора”, изготовленного его родным заводом, стал начальником автоколонны, подвозящей снаряды к линии фронта. От “соискателей” на эту смертельную должность (колонне грузовиков, идущей, скажем, по лесной дороге, сворачивать некуда; как начальник

колонны, чья машина идет первой, отец знал: когда немец отбомбится, он, если, конечно, выживет, не досчитается двух-трех грузовиков со всем их содержимым как в живой силе, так и в материально-техническом выражении, взлетевшими в воздух и к такой-то матери столбами дыма и огня) требовался инженерский диплом.

Учеба, работа, война — на устройство личной жизни свободного времени не оставалось. Притом что все более или менее настойчивые попытки, предпринимаемые семейством (найти для него “хорошую еврейскую девушку”), отец мягко, но решительно отвергал. А если учесть, что его родные братья в ту пору были давно и правильно женаты, — он, единственный из всей их дружной семьи, шел поперек. По какой причине — доподлинно я не знаю, однако, зная отцовскую натуру, догадываюсь: ждал “настоящей любви”. Полагаю, свою роль сыграла и классическая русская литература: перебравшись в столичный город, отец, наверстывая упущенное в хедере, много и увлеченно читал.

Между тем его любовь работала кассиршей.

Фотографии сохранили образ русской красавицы, недостижимый многочисленными нами — полу- и четвертькровками двух грядущих поколений (женские стати третьего пока не проявились). И хотя, скажу без ложной скромности, мы тоже *ничего*, но, увы, тенденция убывания налицо.

Красноречивый пример — мой любимый снимок, где мама запечатлена на фоне аккуратного стога сена. С серпом в руке. Хрестоматийный сельский антураж подчеркивает ее изумительную красоту. И хотя серп она держит вполне по-человече-



ски, не задирая к небу, меня не покидает ощущение незавершенности идеологического гештальта: фотографической инсталляции недостает конгниального по красоте рабочего — разумеется, с молотом.

Мельком и забегая вперед: паразит-Зарубаев, до поры выдававший себя за интеллигента, на эту роль явно не подходил. Да и странно рассуждать о гештальтах, когда семья живет на зарплату молодой супруги, которую молодой супруг не гнушается тратить на рестораны, норовя утопить в веселом и пьяном омуте не токмо тоску по “красивой благородной жизни”, но и скромные суммы, отложенные на первоочередные житейские нужды, к примеру, зимнее пальто с меховым воротничком.

Впрочем, не только эта одна — все фотографии недолгой поры маминого девичества хороши как на подбор. Причина в том, что сделаны они профессиональной камерой: Коля, ее тогдашний кавалер, учился в Ленинградском институте киноинженеров. Чтобы “набить глаз”, а заодно набраться профессиональных навыков выдержки-проявки-печати, он щелкал направо и налево, снимая едва ли не все, что попадалось на глаза и под руку, но, надо ж было так случиться, что именно этот его снимок завоевал первое место на всесоюзном конкурсе фотографов-любителей. И, в качестве награды, право публикации на обложке “Огонька”.

Фотографическому триумфу помешало тонкое обстоятельство, на которое очарованные члены высокого жюри не обратили должного внимания. Не то бдительные цензоры. Они-то и заметили, что “крестьяночка” одета в шелковую блузку. Казалось бы,